

ВЕРЕН СЕБЕ И СВОЕЙ ЛЮБВИ К РОССИИ

К 110-й годовщине со дня рождения А. Блока

«Совесьть русской поэзии». Так называлась одна статья, появившаяся к 25-летию со дня смерти Александра Блока и... вызвавшая «высочайшее» неудовольствие. Шел 1946 год, печально знаменитый расправой с журналами «Звезда» и «Ленинград», с Ахматовой и Зощенко, и для какой-то там «совести» попросту не находилось места в «штатном расписании» гражданских добродетелей.

Ведь даже поэма, в которой Блок сказал революции свое «Да!», вызвала отеческую нотацию Луначарского, тоже обличенную в стихотворную форму:

...знай, поэт мой чуткий,—
Сзади к армии пристал:
Не теряя ни минутки,
Ты вперед бы поспешал.
Красной гвардии колонны
Догони-ка авангард...

И пусть этот поэтический опус остался в бумагах его автора, но подобная снисходительно-поучающая манера судить о великом поэте укоренилась надолго.

Блоку в этом отношении вообще не везло.

В конце первого десятилетия нашего века он мучительно и мужественно размышлял о происходящем в России, о неизбежности новых революционных взрывов, о судьбе интеллигенции перед лицом грядущих событий.

А его свысока отчитывали, как мальчишку: дескать, читался Апокалипсиса, который, как иронически писал П. Б. Струве, «до сих пор заставляет себя ждать... даже в своей социалистической версии».

К чести Петра Бернгардовича, надо сказать, что, когда этой «версии» все же дождался, он был одним из немногих, кто в высшей степени трезво и взвешенно оценил «октябрьскую» поэму Блока, воспринятую многими как «грехопадение» и приспособленчество. (Характерно, что сам поэт переписал статью Струве о «Двенадцати» в свой дневник).

Что же касается иных тогдашних яростных «оппонентов» Блока, они тоже впоследствии убедились в правоте поэта, отвечавшего им, что он и в «Двенадцати» «верен себе и своей любви» к России.

Через год после смерти Блока М. М. Пришвин писал, что «наконец... понял теперь, почему в «Двенадцати» впереди идет Христос — это он, только Блок имел право так сказать: это он сам, Блок, принимая на себя весь грех дела (убийства Катки.— А. Т.) и тем, сливаясь с Христом, мог послать Его вперед убийц: это есть Голгофа — стать впереди и принять их грех на себя. Только верно ли, что это Христос, — добавлял Пришвин, — а не сам Блок в вихре чувств закруженный...»

И почти тридцать лет спустя, уже незадолго до кончины, Пришвин вновь возвращался к мыслям об этой поэме: «Боже мой! Я, кажется, только сейчас подхожу к тому, что сказал Блок в «Двенадцати». Фигура в белом венчике (Христос.— А. Т.) есть последняя и крайняя попытка отстоять мировую культуру нашей революции. Как же я тогда этого не понимал...»

Ныне, когда и мы тоже «закружены в вихре чувств», побуждающих порой к сокрушительным переоценкам «дел давно минувших дней», когда бывшие трагедии становятся объектом самых легковесных суждений, а то и прямого ерничества, от пришинских выводов легко отмахнуться. Но, право, не лишнее — вспомнить отрезвляющие, будто на живейшую злобу дня написанные строки «Возмездия»:

Все это может показаться
Смешным и устарелым
нам,
Но, право, может только

Над русской жизнью хам
издаваться.
Она всегда — меж двух
огней.
Не всякий может стать
героем,
И люди лучшие —
не скроем —
Бессильны часто
перед ней,
Так неожиданно сурова
И вечных перемен полна;
Как вешняя река, она
Внезапно тронуться
готова,
На льдины льдины
громоздить
И на пути своем крушить
Винových, как и
невинных,
И нечиновных, как
чиновных...

Да, Блоку предстояло самому испытать эту «суровость», увидеть, как будут горько обмануты многие его лучшие надежды, как не дается в руки «Голубая птица» мечты о счастье. «...Все птицы, которые были голубыми, пока их ловили, — говорится в его последних статьях, — превратились то в красных, то в черных и по дороге — свесили головы и умерли... не умеет ребенок — толпа сохранить, уберечь от чада и смрада тот костер, в котором она хочет поглотить лишь то, что связывает человечеству ноги на его великом пути».

Блок испытал не только все бытовые тяготы послереволюционных лет, но и самые неза заслуженные унижения со стороны новоявленной бюрократической «черни». Но с каким же высоким благородством восходил он на эту Голгофу:

«...Я любил прогарцевать по убогой деревне на красивой лошади, — писал он в дневнике, вспоминая юность; — я любил спросить дорогу, которую знал и без того, у бедного мужика, чтобы «пофорсить», или у смазливой бабенки, чтобы нам блеснуть друг другу мимолетно белыми зубами, чтобы екнуло в груди так себе, ни от чего, кроме как от молодости, от сырого тумана, от ее смуглого взгляда, от моей стянутой талии...

Все это знала беднота... Знала, что барин — молодой, конь статный, улыбка приятная, что у него невеста хороша и что оба — господа. А господам, — приятные они или нет, — постой, погоди, ужотка покажем.

И показали.

И показывают. И если даже руками грязнее моих (и того не ведаю, и о том, господи, не сужу) выкидывают из станка (типографского. — А. Т.) книжки даже несколько «заслуженного» перед революцией писателя, как А. Блок, то не смею я судить. Не эти руки выкидывают, да, может быть, не эти только, а те далекие, неизвестные миллионы бедных рук; и глядят на это миллионы тех же не знающих, в чем дело, но голодных, исстрадавшихся глаз, которые видели, как гарцевал статный и кормленный барин. И еще кое-что видели другие разные глаза — но такие же. И посмеиваются глаза — как же, мол, гарцевал барин, гулял барин, а теперь барин — за нас? Ой, за нас ли барин?»

Это голос «младшего богатыря» великой русской литературы с ее напряженной совестью, и, говоря старомодным карамзинско-радищевским слогом, чувствительностью к тому, что происходит с другими, что творится в «чужой» душе.

Эх, кабы нам «не теряя ни минутки... поспешать» за такими людьми, как Александр Блок...

А. ТУРКОВ.